



Центр "Петербургское Востоковедение"
St.Petersburg Centre for Oriental Studies

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ

**ST.PETERSBURG JOURNAL
OF ORIENTAL STUDIES**

**выпуск 7
volume 7**

Центр
«Петербургское Востоковедение»

Санкт-Петербург
1995

Необыкновенная судьба необыкновенного человека

Л. Л. Громковская

«...Я не вижу подвига выше, чем спасение чужой славы».

А. Битов

Начало этой книге* было положено в 1964 г., когда в мои руки попал перевод «Похвалы тени», изящного эссе, принадлежащего перу Танидзаки Дзюнъитиро. Имя переводчика — Михаила Григорьева — ничего мне не говорило. Имя не говорило ничего, зато перевод говорил многое: это был, без тени преувеличения, шедевр переводческого искусства. В силу своей профессии я неплохо знала тогдашние переводы с японского, и мастерство Григорьева меня ошеломило.

«Похвала тени» была подарена мне профессором Ёсио Нодзаки, известным японским русистом, великим знатоком русской драматургии, театра и балета, русофилом в самом точном значении этого слова. Михаила Петровича он не просто знал, но долгое время сотрудничал с ним, был дружен и остался верен этой дружбе. В каждую нашу встречу с Нодзаки-сан — то ли в России, то ли в Японии — я узнавала о Григорьеве все больше и больше.

Михаил Петрович Григорьев (1899—1943) стал японистом по воле случая, но был благодарен судьбе за то, что она остановила на нем свой выбор.

Выпускник читинского военного училища, двадцатилетним поручиком он оказался в Японии, где нашел вторую родину, женился на японской девушке, получил японское гражданство.

Русский, православный, глубоко религиозный человек, он сумел остаться патриотом, но при этом считал, что Японии суждено сказать миру новое слово, и стремился отыскать в японской жизни то, что могло бы быть полезным России. Мечта о сближении русских с японцами не была для него отвлеченной идеей, а реализовалась на практике, в частности, в его переводческой деятельности. За сравнительно небольшой срок — с 1935 по 1943 г. он познакомил русскую эмиграцию на Дальнем Востоке с творчеством всех ведущих японских писателей современности, таких, как Акутагава Рюноскэ, Танидзаки Дзюнъитиро, Кавабата Ясунари, Сига Наоя и другие, опередив в ряде случаев не толь-

* Мы публикуем предисловие и несколько новелл из сборника переводов М. Григорьева, работу над которым Л. Л. Громковская не успела закончить (Изд.).

ко советских, но и европейских переводчиков. Большинство григорьевских переводов увидело свет на страницах журнала «Восточное обозрение», который выходил в Дайрене в 30-е—40-е гг.

...Все это рассказал мне профессор Нодзаки, в прошлом редактор и издатель «Восточного обозрения». Встречаясь в Токио, мы с Нодзаки-сан часто сиживали в маленьком кафе на втором этаже универмага Мицукоси в Синдзюку, оттуда открывался вид на переулок, где некогда в кинотеатре Михаил Петрович Григорьев, страстный любитель музыки и прекрасный виолончелист, дирижировал оркестром.

Рассказы Нодзаки о Григорьеве, полные тепла, часто заканчивались словами: «Как жаль, что о нем не знают на родине, в России!» «И никогда не узнают», — мысленно добавляла я. Впрочем, и профессору тогда было совершенно ясно, что опубликовать в Советском Союзе хоть что-нибудь о Григорьеве — белогвардейце, белоэмигранте, человеке, который служил в Русском отделе Генерального штаба Японии, — дело абсолютно безнадежное. Даже просто собирать и хранить материалы о нем было небезопасно. Однако драматизм судьбы Григорьева вызывал глубокое сочувствие и мысли о нем не оставляли меня.

И все же со временем ситуация, казавшаяся безнадежной, изменилась, и стало возможным сделать имя Михаила Григорьева достоянием соотечественников.

Нодзаки-сэнсэй откликнулся незамедлительно: «Приветствую Ваше решение написать монографию о Михаиле Григорьеве. Я готов помочь Вам во всем». К моей радости, профессор Нодзаки сообщал: «Нам очень повезло: оказывается, его вдова, Ая Аракава, жива и здорова, живет в США со старшей дочерью Кирой. У них было две дочери — Кира и Нина. После войны они уехали в Америку, и я не застал их в Токио и до сих пор никаких сведений о них не имел». К письму прилагались фотографии семьи Григорьева и адрес его вдовы. Я написала ей и получила ответ. Но уже следующее мое послание осталось без ответа. Возраст Аякава-сан, или, как она сама отрекомендовалась, Веры Александровны, приближался тогда к девяноста годам. Все же, спустя несколько лет, находясь в Америке, я предприняла еще одну попытку разыскать семью Григорьева, но увы... Таким образом, источник, из которого я надеялась почерпнуть надежную и достаточную информацию, оказался для меня утраченным. О книге нечего было и думать. Тогда возникла мысль собрать воедино переводы Григорьева и издать их, предварив рассказом о самом Михаиле Петровиче.

Львиную долю работы взял на себя профессор Нодзаки — он собрал переводы, ставшие в наши дни библиографической редкостью, сделал сотни страниц ксерокопий и прислал их мне. Однако прошло еще немало времени, прежде чем, покочевав по издательствам, рукопись попала в «Петербургское Востоковедение». И только благодаря этому намерение воздать должное талантливому русскому человеку «без малейшего душевного изъяна», каким его видели близкие, осуществилось.

Материалы о жизни Михаила Петровича, имеющиеся в моем распоряжении, к сожалению, скудны. В основном я опираюсь на воспоминания, собранные в специальном выпуске «Восточного обозрения», посвященном памяти Григорьева, и немногие устные свидетельства тех, кто встречался с ним. Нашлись те, кто сотрудничал с ним на пе-

реводческой ниве, других он учил в гимназии, а некоторым даже аккомпанировал на любительской сцене.

* * *

Высокий, статный, красивый человек с вьющимися волосами и задумчивым взглядом — таким его помнят все, без исключения. И это в полной мере подтверждается фотографией молодого Григорьева. Иные характеризуют его внешность более выразительно: «Симпатичнейший гигант с ослепительной улыбкой и печальными глазами». («Восточное обозрение», 1943, июль—сентябрь*.

Может быть, наиболее значимо свидетельство Варвары Дмитриевны Бубновой, которая сумела профессионально зорким взглядом увидеть самое существенное: «Высокий молодой человек с красивым, неизменно строгим, почти суровым лицом». Его лицо привлекало особенное внимание: «В нем было много от нервного и утонченного интеллигента, но много и от молодого и здорового крестьянина, упорно и напряженно несущего свой тяжкий труд. Глаза его смотрели с детской прямоотой, но в то же время горел в них какой-то беспокойный огонь: это была жажда познания и творчества». В этом выразительном портрете Григорьева угадана и сама его натура, и происхождение, и даже судьба.

Михаил Петрович Григорьев родился в городе Мерве Закаспийской области в семье, где кроме него еще были дети. О среде, из которой он вышел, можно судить по такому свидетельству: «Ребенком пережил он муки тяжкого семейного быта...» О чем здесь речь? О семейных ли неурядицах, или, может быть, неустроенности, нужде? О том, что в семье не все было благополучно, косвенно говорит и такое воспоминание: рассказывая о том, что у Миши Григорьева с юных лет обнаружился музыкальный дар, его одноклассник отмечает, что обстановка в семье, по-видимому, не особенно способствовала развитию у мальчика музыкальных навыков. Известно, что мать Миши страдала каким-то недугом, который рано свел ее в могилу. Миша переживал смерть матери мучительно. Товарищ его по гимназии, а затем и по юнкерскому училищу Глеб Морозов вспоминал, что Миша Григорьев был молчаливым, порой грустным: «Может быть, эта грусть была отражением его тоски по умершей матери?»

Григорьев сторонился шумных юнкерских забав, но он вовсе не слыл тихоней или робким мальчиком. Был случай, когда ему и еще одному юнкеру достались особенно свирепые лошади: «Это были какие-то звери, совершенно не допускавшие к себе человека. Готовые искусать и уже, конечно, сбросить любого седока, звери эти, чтобы сделать их пригодными к строю, требовали долгой и упорной с ними работы. И уж конечно, надо было иметь отвагу и ловкость, чтобы постепенно смирить неукротимое животное. Упорством, настойчивостью, своей силой юнкерам удалось это сделать».

* Здесь и далее воспоминания о Григорьеве цитируются по этому выпуску журнала.

Упорство и настойчивость, завидную целеустремленность Миша Григорьев обнаруживал во всем, за что бы ни брался. В числе прочих он пожелал изучать японский язык, когда это было предложено юнкерам, в учении показал себя одним из лучших, а к моменту выпуска вообще был вне конкуренции.

Владение языком решило его судьбу — вместо артиллерийской части он получил назначение в японскую военную миссию в Чите, откуда спустя недолгое время был эвакуирован в Японию. Грустил ли он, покидая родину? Надо учитывать, что он уезжал из страны, охваченной всеобщим развалом, где «царил разгул низших инстинктов». А вот то, что предстоящая встреча с Японией волновала его воображение, можно предположить с уверенностью — известно, что еще на гимназической скамье он грезил о Стране Восходящего Солнца. И это не удивительно: в первое десятилетие нашего века, особенно после русско-японской войны, волна интереса к дальневосточной соседке буквально захлестнула Россию. Множились учебные центры, где обучали японскому языку, на выставках экспонировалось японское искусство, журналы наперебой печатали очерки о неведомой загадочной стране, стали появляться переводы художественной литературы.

Однако в Японии Михаила Петровича ожидала участь беженца, и так же, как тысячи других русских, кого тогда разбросало по белу свету, он прошел нелегкую школу борьбы за выживание в чужой стране. Правда, ему было легче, чем другим, многих трудностей он избежал, поскольку пользовался расположением японцев и с самого начала стал неплохо зарабатывать. Он не давал себе поблажки, работал одновременно в нескольких местах, чтобы обустроить отца, брата, сестру. Появилась собственная семья, это означало новые заботы.

Но на протяжении двух десятилетий японской жизни Григорьев не только трудится ради заработка, он неустанно шлифует и умножает свои познания в области японоведения. В результате в изучении языка, культуры и литературы Японии он достиг профессионального уровня. О высочайшем качестве литературного перевода я уже имела случай упомянуть, разговорным языком Михаил Петрович владел блистательно — он мог с листа переводить иероглифический текст, техникой синхронного перевода поражал окружающих. Он отважился и на перевод русской поэзии на японский язык, так, Варвара Дмитриевна Бубнова вспоминала, что он переводил Ахматову.

Материалы, имеющиеся в моем распоряжении, красноречиво говорят и об его исследовательской жилке. В предисловии к сборнику переводов Кикиути Кан, популярного писателя современности, не просто добросовестно изложены факты литературной биографии и дана характеристика этапов его творческой эволюции, но с удивительной пронизательностью раскрыт секрет популярности Кикиути. Он, по словам Григорьева, словно «хороший резонатор», откликался на зовы времени и не только шел в ногу с эпохой, но даже опережал ее. Григорьев полагает, что славу литературного мэтра Кикиути добыл ценой компромисса, легко отказавшись от собственных идеалов. На смену лозунгу служения чистому искусству, с которым Кикиути вступил в литературу, пришло умение подстраиваться под вкусы невзыскательного читателя. Прозорливость Григорьева сегодня подтверждается тем, что Кикиути

стяжал славу зачинателя «массовой литературы», которую в Японии относят к разряду чтива и противопоставляют литературе «чистой».

Михаил Петрович вынашивал план создания большой работы по истории Японии, которую хотел проиллюстрировать текстами художественных произведений соответствующих эпох. Очевидно, что одновременно это получилась бы хрестоматия по японской литературе на богатом историческом фоне. Подступом к осуществлению грандиозного замысла следует считать статью Григорьева о «Кодзики», одном из древнейших памятников японской словесности. Эта содержательная историко-филологическая работа опубликована, к сожалению, в неоконченном виде, но и по ней можно судить о научном потенциале Григорьева-японоведа.

В первой части статьи о «Кодзики» — общем очерке, где анализируются предпосылки возникновения этого литературного памятника, обращает на себя внимание противопоставление европейского мира, «беспомощно мечущегося в исканиях таких государственных форм, которые вывели бы народы на путь более или менее сносного существования», Японии с ее установившимся веками государственным строем, который она считает не имеющим себе равных. Интонация и стилистика отрывка убеждают в том, что Григорьев разделяет это мнение японцев о самих себе.

Кажется, что, воздавая должное мудрому государственному устройству Японии и здравому укладу жизни ее обитателей, Григорьев как бы примеряет это к России. С течением времени Россия все больше занимает его думы. Поначалу, только что приехав в Японию, он уверял, что его не тянет обратно домой, т. к., покинув родину совсем молодым, он-де не успел ее толком узнать. Похоже, однако, что по прошествии двух десятилетий ностальгия все же охватила его. Так, собирая японские книги, он составил и богатую русскую библиотеку, что в тех условиях было весьма непросто. По его собственному признанию, он постоянно читал и перечитывал русских поэтов, особенной любовью пользовались акмеисты.

Поворот обозначился особенно четко после гастролей в Токио певицы Софьи Артемьевны Зайцевой, которая приехала сюда из Парижа. Григорьев принял деятельное участие в устройстве ее выступлений. Софья Артемьевна затем уехала в Харбин, где семья Зайцевых и осела. В Харбин, но казалось — в Россию! В сущности, так оно и было. Харбин, построенный царским правительством в Маньчжурии в конце девятнадцатого века как железнодорожный узел на Китайско-Восточной железной дороге, сохранял уклад и атмосферу дореволюционной русской жизни, а к середине двадцатых годов превратился в культурный центр всей дальневосточной российской эмиграции. Улицы в Харбине назывались Садовая, Ямская, Артиллерийская. Пестрели вывески: «Торговый дом И. Я. Чурина», «Кинотеатр "Гигант"», «Гостиница "Новый мир"», существовали Московские торговые ряды... Куда ни глянь — купола православных храмов, их вместе с двумя монастырями — мужским и женским — насчитывалось больше двадцати. Выходили ежедневные газеты, издавались журналы. Русских в городе было больше половины — около ста тысяч, для них были открыты десятки учебных заведений: гимназии, реальные училища, институты, всевоз-

можные курсы. На сцене Железнодорожного собрания выступала драматическая труппа, шли оперы и оперетты, звучала симфоническая музыка. Нередко гастролировали знаменитости мирового класса. Но главное — население ревниво хранило российские обычаи и традиции, соблюдало церковные обряды.

С приходом в начале 30-х годов японских оккупационных войск жизнь русских, как, впрочем, и всего населения Маньчжурии, усложнилась. Японцев недружелюбно встретили все — и взрослые, и дети: «Ты за кого, за китайцев или за японцев?» — беспрестанно спрашивали мальчики друг друга. Но очень скоро выяснилось, что в Коммерческой гимназии, во всяком случае, за японцев не стоит никто, и страсти поутихли. Не с кем было спорить, а военные действия развивались так, что исход не вызывал сомнений: стой за китайцев или не стой, а одолеть японцев они не смогут. Обидно было, да что тут можно делать» (Хаиндрава Леван. Отчий дом. Новосибирск, 1991).

Хозяйничая в своей новой вотчине — государстве Маньчжоуго, — японцы не просто ужесточили режим для эмигрантов, но всеми возможными способами принялись внедрять в сознание людей идею о великой исторической миссии Японии, призванной «осчастливить» народы Азии. Понимая роль печатного слова, японцы поспешили с изданием ежедневной газеты на русском языке «Харбинское время». Были и другие издания. В 1939 г. в Дайрене, в Маньчжурии, начал выходить журнал «Восточное обозрение», где освещались проблемы истории, экономики, культуры и политики стран азиатско-тихоокеанского региона, но основное внимание уделялось все же Японии. Несмотря на достаточно откровенную пропагандистскую направленность журнала, уровень публикаций, авторами которых выступали видные японские специалисты, был высоким. К участию в журнале удалось привлечь и русских: Бубнову, Вановского, Лишина, Агапова. Григорьев, которого Нодзаки пригласил на должность агента Отдела печати при кабинете президента Южно-Маньчжурской железной дороги, в отличие от своих коллег, писавших для «Восточного обозрения» статьи, занимался исключительно переводом художественной литературы. Поначалу решено было, что Григорьев какое-то время проживет в Харбине. Можно думать, что это был нелегкий период в жизни Михаила Петровича. Вряд ли человек, облеченный доверием японцев, обласканный, работавший на них, мог рассчитывать на то, что русская эмиграция примет его с распростертыми объятиями. Однако очень скоро Григорьев снискал славу ходатая по русским делам. Он безотказно оказывал всяческую помощь вновь обретенным соотечественникам, и многие из них хранили благодарную память о нем долгие годы. Один из тех, кто на себе испытал григорьевское заступничество, явно выражая общее мнение, писал: «И еще неизвестно, что ценнее — работа ли на культурном поприще по сближению двух народов или бескорыстная помощь нуждающемуся безъязыковому беженству в его простых повседневных нуждах».

В Харбине, где душе было вольготно, где радовало обилие библиотек и церквей, Михаилу Петровичу довелось прожить недолго, уже через год он переведен на работу в Дайрен (Далянь). Бывший русский порт Дальний, теперь это был приморский курортный город, населен-

ный, главным образом, японцами. Супруге Михаила Петровича переезд пришлось кстати — она неважно себя чувствовала в континентальном климате Харбина. В Дайрене Григорьев, не оставляя сотрудничества в «Восточном обозрении», стал преподавать в гимназии. Предмет, который он вел, называвшийся японоведением, учащимися был встречен без восторга. Рассказы о деяниях героев японской старины не находили отклика в сердцах русских мальчиков и девочек. Прохладное отношение к предмету поначалу распространилось и на преподавателя. Но — странное дело! — Михаил Петрович не только оставался невозмутимым, но всем своим поведением, казалось, давал понять, что не требует принимать излагаемые им мифы и предания всерьез.

Мало общавшийся с русскими — дайренская колония была небольшой и достаточно замкнутой — Григорьев тем не менее запомнился всем как настоящий «русак», человек, беспредельно преданный России. То и дело возникали слухи о какой-то его тайной деятельности в пользу родины. Вряд ли для подобных слухов были реальные основания, скорее уж можно было думать о связях Григорьева с секретными службами Японии. Но даже в таком случае Михаил Петрович вряд ли остался бы чужд того всплеска патриотических чувств, какой охватил русских за рубежом, когда Советский Союз вел войну с фашистами. Тоска по родине, никогда не покидавшая изгнанников, прежде находила выражение в горьких строчках, полных безысходности и обиды:

Не иметь ни куста смородины,
Ни берез, о которых петь,
И не знать той страны и Родины,
За которую умереть!

(Н. Завадская, в кн.: «Харбин. Ветка русского дерева»).

Теперь же люди плакали, передавая друг другу рукописный листок с симоновскими стихами: «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»

Сохранилась гимназическая фотография тех лет. Пожелтевшая от времени, она все же позволяет разглядеть лицо Григорьева. Осунувшееся, с затаенным страданием в глазах. Что-то тревожило его душу.

Климат Дайрена, благоприятный для его супруги, оказался смертельно опасным для самого Михаила Петровича. Он умер внезапно: возвращаясь откуда-то на рикше, упал на мостовую... Ему было сорок четыре года. По официальной версии он скончался от сердечного приступа. Его скоропостижная кончина вновь вызвала волну слухов, поговаривали, что дело не обошлось без кэмпэйтэй, японской жандармерии. Ни проверить, ни опровергнуть эту версию, видимо, невозможно. Совершенно очевидно только то, что, доживи Григорьев до прихода советских войск, его судьба была бы тяжкой. Ведь даже те, кому не в чем было виниться перед советской властью, окончили свои дни в лагерях и тюрьмах.

...В Дайрене все же нашелся человек, близкий Михаилу Петровичу душевно. Поэтесса, красавица Лидия Хаиндрава. Лидии Юлиановне суждена была долгая жизнь. Она вернулась на родину и в преклонном возрасте умерла в Краснодаре, оставив богатое поэтическое наследие.

Среди ранних стихов Лидии Хаиндрава — «Одиночество», с посвящением М. П. Г. В трагически окрашенных строках отразилось их общее умонастроение:

Ну, а мы? Мы пришельцы... Мы сиры и наги.
Муза Странствий манит нас. Бьет крыльями ночь.
И, влюбленные в силу и дерзость отваги,
Мы в бессильи должны изнемочь.

Изнемочь в бессильи... Что может быть страшнее такой судьбы? Она досталась многим отважным русским людям. Будем помнить об этом.